

Новогрудским

АНАБАЗИС

(ИСКУССТВО СОБИРАТЬСЯ В ДОРОГУ)

Открываю глаза (кажется, стучат). Вижу на столе початую бутылку лимонного ликера, немытые кофейные чашки, волнообразные размоченные вафли, набитую окурками пепельницу и снимаю первые три вопроса: где я? кто я? что это за штабель стоит с коробочками у меня в комнате?

Я нашел себя тепленьким в шумном вчерашнем вечере.

Да. Стучат. Энергичный ритм напоминает увертюру к «Кармен».

Просыпаюсь окончательно и понимаю, что лучше бы этого не делал по крайней мере еще часа два-три.

— Илюша? Илья? — Людмила приоткрывает дверь.

В комнату бесшумно входит Значительный.

Людмила улыбается; она любит свои фонарики в коробочках, изрисованных метрошнотуалетной «М», и говорит, что мне звонит мама. Наконец до моей соседки доходит, что, пока она стоит в дверях, я не могу встать и одеться.

— Пошли, мой хороший, пошли-пошли... — говорит она пожилому, безнадежно меланхоличному коту.

Влезаю в джинсы и лечу к телефону.

Судя по голосу, у мамы хорошее настроение.

— ...на вокзале к тебе женщина подойдет...

— Что за женщина?!

— ...для Ираны документы передаст. Я сказала ей номер твоего вагона и места. Ты же знаешь Ирану?..

—?!

— Ну... с четвертого этажа. Хашима жена бывшая.

Я только сказал:

— Зачем?.. — (Нет, я не так сказал, я сказал: зачем?! , а мама уже обиделась.)

И в трубке слышен город — сигналы автомашин, голоса людей со знакомым волчьим подвывом. (Раз открывают окна, значит, там вовсю бушует бакинская весна, а потолки у нас дома пятиметровые — акустика как в филармонии...)

Пришлось перезванивать.

Не успел согласиться взять документы, как тут же посыпались вопросы: «Тебе на работе справку дали, что ты в отпуск едешь? Ну что ты молчишь? Хочешь в Карабах загреметь?! А копию, копию дали? Курицу купи в дорогу. Купил? Не ври. Я же знаю, что ты врешь. Труссы не забудь запасные...»

До «носовых платков» я терпел, но после...

— Мам, почему я у тебя один?!

— Отца спроси. — И отбой в ухо.

Я упал в кресло и немедленно закурил.

Еще можно было налить себе лимонного ликера — после вчерашней попойки, моих проводов в отпуск, как раз оставалось на две-три рюмки, — но было лень вставать, почему-то казалось: одной сигаретой обойдусь. Казалось...

Два с половиной года назад эта самая Ирана приезжала в Москву оформлять визу. Как раз после январских событий в Баку. Остановилась она у каких-то своих знакомых в высотке на Баррикадной.

Я подошел к дому со стороны американского посольства.

Она передала мне посылку от мамы; скрученная бечевка больно врезалась в пальцы, и я оценил бескорыстную родительскую любовь.

Было видно, что уходить сразу ей вроде как неудобно, хотя по наброшенной на плечи легкой курточке поло и голым ногам не стоило труда догадаться, что моя бакинская соседка, выходя на мороз, рассчитывала как можно скорее вернуться домой. Именно эта ее дальновидность меня и задела, и тут же почему-то проснулось давнее дворовое чувство ущемленности перед нашими богатыми соседями с четвертого этажа — надстройки советских времен.

Ну конечно, подумал я, она ведь не просто там какая-то соседка, она дочь бывшего замминистра торговли, она с четвертого этажа, то есть для всего нашего двора — «барышня СВЕРХУ». У меня появилось желание показать этой ладной брюнеточке СВЕРХУ, что теперь мы на равных: столицу мало интересует, на каком таком этаже в Баку проживает дочь старорежимного министра.

Для начала я поинтересовался (это было бы совершенно невозможно в Баку, где люди СНИЗУ хорошо знают свое место), в какую именно из Швейцарий собирается моя соседка — французскую, итальянскую или же все-таки немецкую, — затем развил тему аж до первого Гётеанума*, после чего уже, как человек, не один год разлученный с малой родиной,

* «Антропосовский храм», возведенный Рудольфом Штейнером и его сподвижниками в Дорнахе в 1916 году и сгоревший в новогоднюю ночь 1923 года.

стал давать Иране дельные советы, в основном сугубо психологического плана. Ирана, и в самом начале подозрительно во всем со мною согласная, теперь уже соглашалась всеми теми крохами тепла, которые пока еще оставались в ней, и, поглядывая мимо меня, она со звериной деликатностью почему-то избегала смотреть мне в глаза, все настойчивее притопывала ногами. Не обратить внимания на эти ее фольклорные притопы было бы верхом неприличия с моей стороны. И я обратился. Во все глаза. На ноги...

Вздыбленные черные волоски бегут от худеньких коленок, сгущаясь к подъему стопы. А сама она маленькая, темнокожая уже даже не по-кавказски; под глазами порохового цвета круги, как у актрис немого кино, только там, видно, пленка виновата, мода, а тут, скорее всего, слабое сердце, развод с Хашимом...

— Тебе надо идти, — говорю, — у тебя ноги голые. Замерзнешь.

— Ничего. — Она улыбнулась плотно сжатыми губами.

Пожалуй, я слишком задержал свой взгляд на ее ногах, но ведь так соскучился здесь, в Москве, по таким вот ногам, неделю не бритым, с непременным шрамом, или — что еще лучше — только что побритым, со свежим порезом сзади, чуть повыше пятки (там ямочка и тут же взгорок) — трудное место для большинства бакинок... Мне уже не хотелось доказывать Иране, что мы сейчас на равных у этого высотного дома; другого хотелось... Воображение до того распоясалось, что, взглянув на меня мельком, она даже смутилась, после чего немедленно смутился и я, удивляясь тому, как порою тайное легко

прочитывается, особенно вот такое тайное — случайно вспыхнувшее и случайно погасшее.

Надо было заканчивать разговор, и я спросил для плавного его завершения:

— Как там, в Баку? — (Надо же, нашел когда!)

Ирана молчала.

Она молчала и теперь уже неотрывно смотрела мне прямо в глаза. Я не выдержал ее взгляда, отвернулся и посмотрел на скульптуру сталинского рабочего, украшавшую наимрачнейший фасад здания.

Тогда она сказала:

— Цветочки на асфальт кладем, где танками нас давили.

Я попрощался и ушел.

Я шел к метро и твердил самому себе: «Как там, в Баку? Как там, в Баку?.. А ты что, сам не знаешь, как может быть там, в Баку, после всего того, что было в январе, а?..»

И я представил себе те ночи, распоротые криками, как животы животных, небо слепое, без звезд, простроченное пунктирами трассирующих пуль... Ирану, ползающую на коленях. Как не хватает ей тела, чтобы накрыть собою дочь и сына. А разве мама моя не могла вот так же ползать на четвереньках?! А я вопросом своим чуть ли не простил тех, кто ставил их на колени... А что бы я мог сделать, если бы был там? Примкнуть к ребятам из Сальянских казарм? Дальше я уже ничего не представлял, не думал, не твердил себе. Дошел до точки. Растерял я себя. И только в метро, проходя турникеты, рукой, свободной от посылки, как футболисты во время штрафного удара, я инстинктивно защитил то, что еще оставалось у меня от самца.

Затушил сигарету. Зарыл в кладбище вчерашних окурков. Встал. Открыл окно. На подоконник сел и прошелся вразвалочку, навевая образ нового русского, тяжелорудый голубь. Я раскрошил чванливому герою вафлю, надкусанную кем-то из вчерашних моих гостей.

Нет, Ирана тут ни при чем, да и на Хашима я давно уже зла не держу; давно простил ему, что когда-то он взбаламутил весь наш двор сообщением, будто бы вовсе не уверен в том, что родившийся у Нанки мальчик — это его ребенок, а не мой, к примеру, или того же Марка. Поскольку Марка от Наны уже давно отделяли Западная Европа и волны Атлантического океана, то, естественно, подозрение пало на меня, что явилось одним из мотивов моего бегства из Баку в Москву. Но... время лечит, особенно лихое перестроечное, и неудачные браки тоже. О чем речь, конечно же, я возьму документы, конечно, передам.

Вот уже почти полгода, как я живу в этом сером шестиэтажном доме на Малой Бронной у самых Патриарших прудов; это мое пятое место жительства за семь лет. В декабре прошлого года я развелся и перед самым Новым годом перебрался с Преображенки сюда, в центр города.

От неверной супруги своей я ушел так стремительно, что поступок мой явился полной неожиданностью для тутошней и тамошней родни. (Считалось, что мы идеальная пара: заслуга больше ее, чем моя.) Мне светило остаться без крыши над головой, если бы не муж моей кузины, приятельство с которым я водил, любезно согласившийся сдать свои пятнадцать квадратных метров на Малой Бронной за чисто символическую сумму, которую я тем не менее сам

не в состоянии внести — мама деньги присылает. Последнее время деньги все чаще и чаще запаздывают, приходят не в срок. Иногда я занимаю их у отца, иногда мужу моей кухни приходится ждать неделю, а то и две. Теперь он чаще бывает на Бронной, сделал себе еще одни ключи, приходит с друзьями кирнуть, иногда с женщинами. Кухня моя начала догадываться. Пару раз пробовала расколоть. Не получилось. Как-то недавно позвонила, злая такая, говорит: «Я эту вашу гарсоньерку с рерихнувшимися экстрасенсами и литературными профурсетками когда-нибудь сожгу. Вот увидишь, Илья!» ...Малина... Конечно малина. Центр города. Институт рядом. Друзья ходят толпами. Я, можно сказать, жирую, но есть одно но... По субботам и воскресеньям здесь тишина такая, что невольно начинаешь приберегать дыхание. Это не ночная тишина юга перед тем, как сделаться метафорой, и не та северная, естественная и далекая, какую вдруг обнаруживаешь усталым путником на исходе дня в поле среди тяжелых колосьев под прозрачным высоким небом с двумя-тремя облачками, и уж тем более это не тишина дачная на станции Икс, полная эстетических амбиций между протяжным гулом двух летящих навстречу друг другу электричек. Нет-нет, эта субботняя и воскресная тишина, особенно убийственная летом, когда народ разъезжается по своим именам, — одно из неперемennых условий современного столичного города со всеми его «аминь» за углом каждой улицы, это условие, с которым не можешь не считаться, улавливая его грезящим слухом в беззвучных волнах, накрывающих дома, улицы и деревья. По субботам и воскресеньям так хочется, чтобы кто-нибудь набрал твой номер телефона хотя бы

по ошибке. (Вот когда я начинаю жалеть, что развелся, что совершенно неспособен на компромиссы.) Но сегодня у нас, слава богу, не суббота и не воскресенье, голубь просто ошибся, сев на мое окно. Поэтому-то я и наградил его вафлей.

Вообще-то мы с Людмилой ладим. Она почти всегда приглашает меня на свои «великосветские» девичники, делится гуманитарной помощью из Германии, которую ей регулярно устраивает Христофор Арамович, и иногда (если ей становится совсем меня жаль) даже дает деньги в долг. Люде не нравятся две вещи: когда я стучу по ночам на машинке и когда ко мне приходит Нина. Она не любит мою машинку, она не любит моих друзей, хотя своих водит толпами, и не преминет сообщить новым знакомым, которых легко добывает и теряет: «У меня сосед — писатель, подруга — актриса в Театре на Таганке (я имел счастье быть представленным этой спившейся Офелии, играть ей только в пивном баре на Пушкинской), а друг (непременно выдержит паузу) — известный психотерапевт (она говорит — “тэрапэфт”), его постоянно показывают по телевизору... знаете, кого он лечил?!» Раньше она называла имена кинозвезд и эстрадных певцов, теперь — все больше политиков и бандитов.

В нашей квартире четыре комнаты, не считая чулана — самой большой, светлой и квадратной комнаты с двумя окнами на Патрики. Еще не так давно чулан принадлежал всем и никому. За чулан шли ожесточенные бои, сменявшиеся ненадежными фронтовыми затишьями. Четыре другие комнаты вытянуты до такой степени, что напоминают старые гробы — два по одну сторону коридора (тоже изрядно вытянутого) и два по другую. Один из этих гробов в левой части

квартиры снимаю я (если бы я поднялся на роман типа фальсифицированной автобиографии, в этом месте добавил бы непременно — Ваш покорный слуга, Илья Новогрудский, прошу любить и жаловать), три других недавно отошли моей соседке с дочерью-отроковицей и котом Маркизом, которого мы с Нинкой прозвали Значительным. Раньше здесь проживали две старушки, родные сестры, — Ядвига Иосифовна и Мария Осиповна (паспортистка неправильно записала отчество младшей, Маруси, родившейся уже в советское время). Мария Осиповна недавно умерла от сердечной недостаточности в возрасте семидесяти девяти лет, а ее старшую сестру Ядвигу, давно выжившую из ума, благополучно отправили в дом престарелых, конечно не без помощи Людмилы и ее любовника. Последнее и единственное условие старушки, перед тем как сгинуť на веки вечные, — чтобы ей вернули черепаховые очки Маруси (должно быть, долгие лета предмет зависти). «Они же сестре теперь не нужны». Ход мышления вполне логичный, если бы таковые очки у покойной действительно были. Но старики, какими бы неудобными они ни казались, как бы порою ни раздражали нас, — в быту не очень-то заметны: оказывается, ни я, ни Людмила не помнили, какие именно очки носила покойная, в черепаховой или в серебряной оправе. Где теперь искать их — не знал никто. Арамыч трижды бегал на Садовое кольцо за очками. Старуха только и говорила: «Не те. Те — черепаховые, круглые...» Людмила была в бешенстве: «Посмотрите, какие очки вам покупают! Принцесса Монако такие не носит, а ваша сестра всю жизнь за копейки простой машинисткой проработала». — «Не простой. В газете “Правда” простые не работали». Короче, старушку

отправили в дом престарелых и вскорости, по слухам, та приказала долго жить. Людмила начала планомерное освоение чулана: сначала она забила его старой мебелью, консервированными помидорами и огурцами, затем вынесла все баллоны и заставила весь чулан фонариками — Людмила решила делать бизнес. Она где-то добыла партию китайских фонариков московского производства, всего по доллару за штуку, и рассчитывала «оперативно продать» их в Турции то ли за два, то ли за три с полтиной. Из-за этой безумной затеи теперь страдают все, включая Значительного, который пометил уже пару коробочек, за что и получил крепко бельевой палкой по ушам; целых два дня обиженный кот не вылезал из-за холодильника.

Я же, поглядывая на не тронутых котом рыб и вспоминая, как однажды Значительный помочился на мой лучший свитер из верблюжьей шерсти (что только я ни предпринимал потом, дабы избавиться от едкого этого запаха, даже шампунем раз постирал), испытывал чувство морального удовлетворения. «Мне отмщение, и Аз воздам», — телеграфировал я за холодильник.

С Арамычем у меня тоже сложились неплохие отношения, правда, он постоянно путает мое имя. Людмила уверяет, что Арамыч экстрасенс и «прекрасный составитель гороскопов». Он буквально за несколько недель предсказал государственный переворот: ему «открылась» дача в Форосе и Горбачев на какой-то аллее с Наиной Ельциной. Захаживает он к Людмиле неизменно по вторникам и четвергам, но его бывает так много, что у меня создается впечатление, будто он с нами живет. Появляется Арамыч почти всегда

с букетом очень дорогих цветов и бутылкой шампанского (непременно полусухого), которое называет «кисленьким». «Арсений, как вы насчет “кисленького”?» — говорит он мне, входя в мою комнату всегда без стука.

Беру грязные чашки, иду на кухню.

Людмила размораживает холодильник и курит. Людмила сидит на табурете, забросив ногу на ногу, и задумчиво играет верхней тапочкой; через каждые две секунды тапочка хлопает о голую пятку.

— Вам не мешают мои фонарики? — спрашивает она так, будто речь идет о многомоощном «Феррари».

— Что вы... — отвечаю.

Прежде чем свалить всю грязную посуду в раковину, я открываю кран и смываю пепел. (Людмила всегда курит на кухне, только на кухне, и всегда стряхивает пепел в раковину. Это уже своего рода обряд.)

— Когда я вернусь из Турции... — И тут мы оба поворачиваем головы.

Из морозильника от антарктического нароста отвалился и рухнул кусок льда.

Людмила встает, в лучших традициях русской балетной школы вытягивает ногу и подпихивает носком тряпку под холодильник.

— ...я подарю вам джинсы, — продолжает она, — Христофорушка говорит, в Турции необыкновенно дешевая джинсовая одежда.

— Спасибо, но я дешевые не... — Я вообще не представляю себе, как можно сказать такое — «джинсовая одежда».

— Это уж как хотите, я ведь просто к тому... Христофорушка говорит, сейчас все джинсы турецкие, даже дорогие американские.

Соседке моей кажется: в Турции есть все, абсолютно все, кроме ее китайских фонариков московского производства. Людмила просто бредит Турцией.

— Когда я вернусь... — с бардовской интонацией конца шестидесятых продолжает она и тут видит отпечаток губной помады на одной из чашек: — Творог ваш и яйца я поставила на подоконник.

Людмила подержала окурок под краном, бросила его в мусорное ведро и, круто развернувшись (я даже почувствовал посланный ее негодующим бедром теплый пассат), ушла из кухни.

В коридоре, у телефона, остановилась:

— Включите телевизор. В десять пятьдесят по первому Христофора транслируют.

Ну вот, теперь я могу спокойно помыть посуду и приготовить себе завтрак. Кстати, о завтраке. Я бросил на подоконник взгляд, преисполненный надежды. (У меня холодильника нет, и кое-какие скоропортящиеся продукты я держу у Люды.) Жестокое разочарование постигло меня: яиц оставалось пять, творог не просто начал желтеть, а его уже давно пора было выбросить. Зато у меня нераспечатанная пачка пикантного майонеза! Можно утро начинать.

В уже взбитые яйца бухаю полпачки майонеза, опять взбиваю, потом крошу плавленый сыр туда же (попал кусок фольги, надо его ножом...), после чего тихо иду в чулан и осторожно, чтобы не снести высотную конструкцию из китайских фонариков, ворую у Людмилы красивую красную луковицу, возвращаюсь на кухню, мелко-мелко рублю ее и на сковородку, в шипящее масло. Пока поджаривается мой (вернее, Людмилин) лук, я созерцаю Значительного, уплетающего мойву. Я смотрю на него, как смотрят на луну,

отражающуюся в темной реке. Надо же, устроился, стервец! Я смотрю на его черную лоснящуюся шерсть с легкой сединой, на широкую, сливающуюся с брюхом барскую спину, на сладострастные повороты головы во время продуктивного разжевывания очередного куска; я смотрю и думаю, что сегодня почти не завидую ему, это, наверное, потому, что сегодня четверг, сегодня я получаю долгожданные отпускные. Черное никчемное существо, с треском пожирающее продукты рек, морей и океанов, больше не занимает мои мысли. Весь я — уже в белом листочке бумаги: «Паросиловое и компрессорное хозяйство. Илья Новгородский. Месяц. Дни. Часы. Сумма. Повременные. Ночные. Итого начислено. Госналог. Профсоюз. Итого удержано. Долг за предприятием (естественно) 0.00».

Комната уже проветрилась.

Голубь хорошо потрудился (на подоконнике ни крошки). Можно прикрыть окно.

Перед тем как сесть за стол завтракать, включаю свой маленький туристский телевизор. Во-первых, последнее время я внимательно слежу за новостями: в Азербайджане все так быстро меняется, оглянуться не успел, восстанавливают латинскую графику, включил позже — пала Шуша; во-вторых, люблю, когда он работает, когда он просто одомашнивает убогое мое холостяцкое жилье, обклеенное географическими картами, культуристами и культуристками; но с тех пор, как в комнате появился штабель с фонариками, у него с одомашниванием пятнадцати квадратных метров что-то неважно получается.

Новостная передача аппетита тоже не прибавляла; какие-то слухи о назначении Владимира Шумейко на пост вице-премьера, какие-то сомнения насчет

российского парламента: а не постигнет ли его страшная участь союзного? Какая-то мания по поводу речи Горбача в Фултоне, а вот и лихие казаки на похоронах приднестровского гвардейца; походный атаман Войска Донского настроен решительно, считает, что президентов надо гнать к чертовой бабушке. Единственное сообщение из Азербайджана, почти недельной давности, — заявление Алиева о том, что в сложившейся ситуации проведение выборов невозможно: «В настоящее время в Баку нет власти и царит полный хаос». Видимо, это на руку Москве. Зато очень порадовал геомагнитный прогноз: в ближайшие дни, дамы и господа, ожидается улучшение, однако людям, подверженным колебаниям артериального давления, потребуется контроль и лекарственная коррекция... (Интересно, подвержен ли я колебаниям артериального давления или же отношусь к той грубой части населения, которая не нуждается в лекарственной коррекции?) Учителем года стал преподаватель пения: «Я всегда был радикальнее Высоцкого».

Я хотел подняться, переключить канал, но тут началась моя любимая реклама водки «Смирнофф». Я люблю эту дивную, многократно преломляющуюся наигибчайшей пантерой, в прошлой жизни, вне всякого сомнения, великосветской женщиной.

Уже несколько дней у меня такое ощущение, будто за моей спиной кто-то стоит и следит за каждым моим движением. Вот и сейчас... Вкушаю более чем скромный холостяцкий завтрак, смотрю телевизор, и мне кажется, кто-то наблюдает за мной — наблюдает и укоризненно качает головой: «Ну как так можно!» Действительно — как?! Два стола после сессии завалены книгами; почти все из институтской

библиотеки: тетради, бумаги, записные книжки с начатыми и неоконченными рассказами, ручки, автоматические карандаши (я люблю ими писать), степлер, клей... Я ем, смотрю телик, перебираю бумаги, я делаю все назло свидетелю за моей макушкой. На обратной стороне скрепленных скобою листов записываю: «Ирана. Документы». Переворачиваю листы и вспоминаю, что обещал Нине прочесть ее эссе до отъезда.

— Илья, телевизор!..

— У меня включен.

— Что вы смотрите?! Христофора уже десять минут как показывают. Переключайте скорее на «Третий глаз». Первый канал...

Ведущий то ли «Третьего глаза», то ли «Шестого чувства» — молодой человек в старообрядческой бороде, но с такой странной, если не сказать больше, вибрацией в голосе, будто только что из клуба сомнительных развлечений, — пытается всклоченного невротика. Тема: НЛП-терапия. Арамыч сидит напротив них, молчит и хитро щурится. (Нос его на экране телевизора еще больше, чем в жизни.) Вопросы ведущего повергают меня в легкий утренний шок: «Можно ли вылечить Россию с помощью нейролингвистического программирования?» Пока невротик бездарно тратит драгоценное эфирное время, ведущий поворачивается к Христофору: «Уважаемые телезрители, у нас в гостях магистр игровой терапии Христофор Арамович Мустакас. Христофор Арамович, наши телезрители спрашивают: правда, что вы гражданин четырех планет или просто человек с третьим глазом?» — «Я наполовину армянин, наполовину грек,

разумеется с русской душой, я люблю приглашать друзей на вчерашний борщ и холодную водочку, я молоденькую березку люблю и матерное словцо. На лбу у меня, как видите, глаза нет...» — «Действительно ли самые интересные вещи, — перебивает его ведущий, — происходят сейчас, во время парада планет?» — «Да, несомненно. Сейчас мы с вами творим свое будущее. С 1992 по 1995 год Плутон восходит на Путь Фазтона...» Тут совершенно неожиданно оживает невротик. Он не может простить ведущему, что тот так бесцеремонно, так по-хамски отобрал его время. Говорят уже все трое, перебивая друг друга. Естественно, на этом невропатическом базаре носатая Людмила любовь громче всех.

Я поворачиваюсь, смотрю на штабель с фонариками на букву «М». Так вот оно что! Оказывается, фонарики-то на имя Мустакаса; выходит, он их покупал, а не Люда, иначе на штабеле красовалась бы другая согласная, потому что фамилия Люды — Почебут.

Полный решимости завершить свой завтрак, выключаю телевизор. Но с майонезом я переборщил и доесть яичницу вряд ли удастся. Несу тарелку Значительному, может быть, он слопает мой последний кулинарный стёб; нет, наверное, не доест, хозяин лук не понравится, и вообще, этот зверь яйца только в сыром виде употребляет. Вот у Нины кошка, та в основном налегает на крабовые палочки. Извращенка. Нина... С тех пор как на нашем курсе образовалась Нинка Верещагина, лично у меня все пошло сикось-накось. Нинка уверяет, что писать так, как я писал раньше, просто нельзя. Сама она «писюча», как «писючи» все женщины: эссе, стихи, пьесы, романы и даже очень-очень темпераментные мемуары...

Самое интересное, что нанизывать слова она умеет, бог знает как, но умеет. Из нее прет и прет; она и мне подарила вечное перо и портрет Андре Бретона*, которого я благополучно отправил на стену в компанию культуристов. Как писать мне теперь — я не знаю. Нина говорит: «Представь, что ты камера с открытым объективом, ты просто камера, ты только камера. Ты фиксируешь; ты фиксируешь и складываешь ленту в коробки; пока складываешь, пока — но когда-нибудь все это будет проявлено, смонтировано, вот тогда!..» Нине легко говорить. И вообще, что можно ждать от женщины, которая пишет пьесу под названием «Усталые люди целуют черепах»? Уверен: идее писать так, как снимает камера, столько же лет, сколько самой камере, экранному полотну, зрительскому креслу, имяреку, хрустящему мороженым в темноте зала; Нинка, вне всякого сомнения, выкрала ее у кого-то (такие вещи чувствуешь, у нас в институте все у кого-то что-то крадут), возможно, она стянула ее у того же обожаемого ею Бретона или из «Синего всадника». Но ведь стянула она ее для меня, значит, уверена, что мне подойдет.

Она говорит: «Ты же дикий. Ты же Маугли**». И ни в коем случае не правь тексты: когда правишь, уходит душа, теряется целостность восприятия». До Нинки я хоть немного, но писал, с тех пор как

* Андре Бретон (1896–1966) — один из основоположников сюрреализма, провозгласивший главным способом выражения «автоматическое письмо», позволяющее избежать условностей обычного литературного дискурса.

** Для сюрреализма характерны примитивистские тенденции. «Глаз существует в первозданно диком виде» (А. Бретон).

появилась второгодница Нина, я не могу написать ни строчки.

Помыв посуду и немного прибрал в комнате, спешу на завод за справкой и отпускными.

Я живу в прекрасном месте. Три станции метро на выбор: «Баррикадка», «Маяковка», «Пушка». Чаще всего на работу я хожу по кольцу до «Баррикадной», но сегодня встал поздно, времени в обрез, так что сегодня я на «Пушкинскую».

Иду по улочкам-закоулочкам, чтобы, не дай бог, не встретить кого-нибудь из ребят; в этом районе всегда кого-нибудь да встретишь. Тормознешься в кафе — и все, день пропал. Сколько у меня уже таких пропавших дней?!

Кругом торговые палатки. Сигареты какие хочешь, я никак не могу привыкнуть к такому табачному изобилию; я пробую то одни, то другие и неизменно возвращаюсь к болгарским. А вот Нинка сразу под села на «Житан». Она может часами сидеть в «Цыпленке»*, пить кофе, курить одну за другой и говорить, говорить, говорить...

Ах, Набоков, Кортасар, Пол Боулз!.. Неужели когда-нибудь переведут «Поминки по Финнегану?!» (Нине больше нравится «Пробуждающиеся Финнеганы»**.) Рюмочка здесь, рюмочка там, а кончается все во дворе нашего института под «Три топора» и «Леонида Макарыча»***.

* Кафе на Бронной, в котором собирался литературный андеграунд конца 80-х — начала 90-х.

** Finnegans' wake — английское wake кроме поминок означает еще и пробуждение, восставание.

*** «Три топора» — название портвейна «Три семерки». «Леонид Макарыч» — сигареты L&M.

Вдруг из-за угла мне навстречу — та самая юная особа, с которой я бегаю по утрам. Имени ее я не знаю, кто она, что она — тоже, мы с ней просто регулярно бегаем вместе, наматываем круги на Патриарших. Я настолько привык видеть ее в спортивном костюме с каким-то монашеским капюшоном чуть ли не до самых глаз, всегда сосредоточенных, обращенных внутрь себя, что, столкнувшись вот так вот — лицом к лицу, — от неожиданности такой даже здороваюсь. Она отвечает мне по-соседски — легким кивком коротко стриженной головы. Свежая. Сексапильная. Вся на авансах... Если бы не югославы-строители, уже провожающие ее жаркими адриатическими взглядами со строительных лесов дома напротив, я, возможно, тоже бы повернулся, чтобы полюбоваться ее ногами, уже не в кроссовках — они укорачивают икры и утяжеляют щиколотки, — а на высоких шпильках, но я боюсь и не люблю женщин, которые нравятся всем мужчинам, всем без разбора, особенно вот таким, простым работягам без воображения. Но Нинка ведь тоже нравится всем. Правда, Нинка другое дело, Нинка просто умеет нравиться всем, а это ведь не одно и то же; хотя и с Нинкой у меня тоже после августа 91-го все не так. Нинка не может мне простить, что я был на баррикадах, а она нет. Прозевала. Испугалась. Если нас что-то еще и сближает, так это институт, общая тусовка и имена великих покойников; нас сближают телефонные звонки в период сессий, прошлое, о котором мы никогда не говорим, но которое носим за хребтом, одиночество и киноцентр на Краснопресненской. Я прекрасно понимаю, что с Нинкой пора уже рвать, но как, как, если я пока еще никого не встретил. Иногда я уже

чувствую, слышу ритмичное дыхание той, кто вскорости заменит мне Нину. Вот и Арамыч уверяет: «В этом году, Серафимушка, вас ждут большие метаморфозы, вы, наконец, дружок, научитесь сидеть ровно своей задницей». Не знаю почему, но я связал это умение сидеть ровно с появлением той одной-единственной женщины, единственной и неповторимой, которую я давно уже жду, будучи женатым два с половиной раза. Конечно, я не Люда, чтобы ходить совершенно зомбированным этим греческим армянином, неизвестно откуда взявшимся и неизвестно где проживающим, но, странное дело, чем чаще я встречаюсь с ним за тыквенной чашечкой горячего мате, тем больше подпадаю под его влияние. Возможно, это просто следствие частого употребления европейцем напитка, собранного индейцами, а может быть, на меня действует магическая сила произносимых Арамычем слов, значение которых я или не понимаю до конца, или вообще не понимаю, — например, таких как «интеллигибельность» или «имплицитный». До Христофора Арамыча я много чего не знал. Я не знал, что такое Восходящие и Заходящие Лунные Узлы. Я не знал, что для составления гороскопов и их трактовки нужны озарение и вдохновение. Я не знал, что мы живем сейчас в самой серединке Парада планет, предвещающего Эру Водолея. Но главное, чего я не знал, — что еще не умею сидеть своей задницей ровно. «Женщина, Глебушка, приходит тогда, когда мужчина двумя ногами стоит на своей Дороге, а вы у нас что витязь с мокрой попкой на распутье, только памперсы витязю менять никто не будет».

В метро, уже на платформе, мне вдруг показалось, что я забыл взять с собой необходимые документы.

Я рылся в своей многокарманной сумке минут пять, прежде чем нашел паспорт.

На заводе сначала ненадолго зашел к себе в компрессорную посидеть, потрепаться с мужиками, но, оказывается, ночью подошли девять цистерн с цементом; сейчас разгружали последнюю, и компрессоры молотили вовсю. Было шумно и жарко от них; дребезжали окна... Я пообещал в цеху поставить бутылку (у нас все, кто уходит в отпуск, так делают), очень подробно выкурил сигарету у здоровенной полуразвалившейся катушки с толстенным кабелем и, глядя, как поднимаются белые клубы пара из поржавелой трубы, вспомнил, чего мне, отпрыску Самуила Новогрудского, стоило пробиться на это теплое и тихое блатное местечко, позволившее вести тот образ жизни, который я веду и по сю пору и к которому так стремился в первые трудные годы своего лимитства. Не будь этой компрессорной, пусть шумной, пусть жаркой, никогда не поступил бы я в институт. Да. Точно.

Я докурил эту подробную сигарету, прицелился, запустил бычком в расходящиеся клубы пара и потихонечку пошел по запыленной дороге в заводоуправление.

Сразу же за проехавшим цементовозом с «крутилкой» показался разношерстный собачий прайд, возглавляемый злющим Прохором; собаки пробежали мимо меня, виляя пыльными хвостами и подобострастно пригибая головы.

Трансформаторщица Раиса сказала:

— Ой, Илюшка! А чего нарисовался?

Она из той породы людей, которых даже тяжелый трудовой день не берет.

- За отпускными пришел.
- Покарнавалить, значит, решил? Святое дело. Вот, правда, гольфстримчик местного значения.

Директор завода, точная копия жожака Прохора, только в человечьем варианте, стоял у щита победителей соцсоревнования, который я оформлял еще в прошлом году за отгулы, и крошил матом главного инженера. Бухгалтер и кассир курили на лестнице сигареты «Вог», совершенно не шедшие к их коротким ногам, широким бедрам и толстым шеям, не говоря уже о макияже (такого боевого окраса, такого крика души я даже у шлюх на Тверской не встречал). Женщины курили, скрестив на груди руки, как Байрон или Пушкин на хрестоматийных портретах: легкий налет романтизма нынче в чести в любой среде. Они делали вид, что не слышат директорской брани, хотя наверняка хорошо понимали, что он, помимо всего прочего, еще и для их ушей старается, и, видимо, сие обстоятельство им немало льстило.

— Люське-то, Люське из пятого, на Хорошевке квартиру дали. Две комнаты, — сказала кассир, одним глазом следя за директором. — А она видала где в очереди стоит?! Еще рот свой развалила, недовольна.

— Денежку можно получить? — спросил я, чувствуя, что перемывание косточек Люське из пятого может обернуться целой «Одиссеей».

Кассир посмотрела на меня так, будто собиралась расплачиваться своими кровными.

Получив деньги, я почувствовал, как сразу же изменилось у меня настроение; такой я благодущный стал, такой весь из себя порхающий.